

Д.Н. МАМИН  
СИБИРЯК

Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк

**Правильные слова**  
(Сказки и рассказы для детей)

Из путевых эскизов

Из сборника «Встречи». (Очерки и рассказы)

# Содержание

I.....	.0005
II.....	.0015

# Правильные слова

Мы ехали первый раз на студенческую летнюю «побывку». Вернуться домой студентом — это уже говорило достаточно само за себя. Еще в Петербурге составила́сь целая компания, и мы весело катили на далекую родину, минуя чужие города, чужих людей и вообще чужую сторону. Домой — сколько хорошего, молодого, здорового и теплого в одном этом слове!..

Москва, Нижний, Казань мелькнули как-то особенно быстро, и мы с нетерпением ждали родной Камы с ее крутыми, глинистыми берегами, траурным лесом и родным холодком. Пароход «Купец» шел очень медленно, и в помещении третьего класса в майские ночи было порядочно-таки холодно, особенно принимая во внимание наши летние «сак-пальто» с Апраксина. Когда пароход вошел в Каму, наше положение оказалось почти критическим — потянуло «сиверком», воздух настолько засвежел, что благоразумные люди понадевали шубы. Днем мы кое-как перебивались еще около машины, но страшна была близив-

шаяся холодная ночь.

Спасение явилось совершенно неожиданно в лице сплавщика с реки Белой, у которого оказалось с собой целых два бараньих тулупа, не считая надетого на нем полушубка из домашней овчины.

— Всех угрею, — радушно приглашал старик, снисходя к нашей господской беспомощности. — Один тулуп постелем на пол, а другим сверху накроемся. Тут нас из пушки не прошибешь...

Как теперь вижу этого сплавщика... Высокий, плечистый, с большой косматой головой, он выделялся из остальной толпы пассажиров, как настоящий богатырь. Такие типы попадаются еще в захолустьях, как Уфимская губерния. Замечательнее всего у нашего богатыря было лицо — широкое, с окладистой бородой и славянскими серыми глазами; на этом лице лежала печать удивительной доброты, а глаза смотрели совсем по-детски. Он и говорил совсем особенно, тем языком, от которого веяло нетронутым домашним теплом. Помимо его тулупов сплавщик приводил нашу компанию в восторг; как редкий предста-

витель настоящего «народа», и притом наш мужик, вспоенный уральской водой. Сказался известный областной патриотизм, да и старик оказался таким разговорчивым, интересным. Его речь так и пересыпалась поговорками, прибаутками и тем красным словцом, по которому узнаешь умного человека сразу.

— Вы из школьников будете? — расспрашивал он нас. — На побывку домой потянули...

— Не школьники, а студенты, — поправлял кто-то, обиженный названием школьника.

— Ну, скубенты так скубенты: все одно, — утрею... Кто ни поп, тот и батька, а у меня домашнего тепла на весь пароход хватит. Будем друг о дружку греться...

Кама была в полном разливе, и нужно было видеть, как любовался могучей рекой старик. Он знал каждую отмель, каждый островок и мог «пробежать» на пароходе с закрытыми глазами. Эта любовь к своей реке, к своим местам и к своему вообще отвечала как нельзя лучше нашему общему настроению, и старик в наших глазах в течение одних суток

вырос в какого-то сказочного богатыря. О реке он говорил как о живом существе и говорил так любовно, тепло, что мы и сами начинали переживать такое же любовное настроение. Являлась даже мысль, что как хорошо быть сплавщиком, а все остальное пустяки...

Помню чудную майскую ночь, когда мы, обеспеченные шубами сплавщика, дольше обыкновенного засиделись на верхней палубе. Кама в разлив — безбрежное море, и эта иллюзия нарушалась только вершинами выступающих из воды деревьев. В таком просторе есть что-то такое бодрое и зовущее, точно самая мысль окрыляется. Где-то распевали наши камские соловьи, притаившиеся в ивняке затонувших островов. За Урал соловьи не перелетают, да и здесь они поют так несмело, точно все только пробуют разные мотивы и не могут никак попасть в настоящий тон. Это совсем не то что настоящие южные соловьи, от поцелуев которых стонут южные ночи, — это именно поцелуй, а не щелканье, как называют призывную соловьиную трель. Траурная хвойная растительность тоже говорила о своем родном севере с его стро-

гими готическими линиями. Не было и белых волжских отмелей, — их сменила камская красная глина. Но все-таки эти камские ночи хороши и навевают такое бодрое, хорошее настроение.

— Вот как она, наша матушка, разлилась, — любовно повторил старик, присматривая из-под руки серебрившуюся от месячного света водяную гладь. — Весна ноне выпала дружная... Вода и занялась; сила силой. И куда только это вода уходит?

— В море, как из всех других рек.

— А из моря куда?

— В океан.

— А из окиян-моря?

Когда дело дошло до испарения воды из океана, наш сплавщик уперся и не захотел понимать ни за что такой простой вещи, какую знает каждый гимназист второго класса. Как мы ему ни толковали, как ни объясняли, богатырь не мог согласиться, что из паров могут образоваться облака и т. д.

— Вода назад идет под землю, — утверждал он. — А потом из земли ключами и выливается... Где ни копни, всегда до воды доко-

паешься. На что камень — и из того вода бежит, а откуда ей в камне взяться? По-вашему, все это просто: тут тебе вода, тут земля, тут пар... А оно надумаешься. Земля одно любит, вода — другое.

Оказалось, что мы заговорили на двух различных языках и перестали понимать друг друга. Это огорчало обе стороны, и умный старик с удивлением смотрел на нас, как это мы не можем понять таких простых и всем понятных вещей.

— Вот теперь я сплавщик, — старался он объяснить нам какую-то затаенную мужицкую мысль. — Так я говорю? Сгоню одну беляну — вот тебе сотельный билет, клади в карман. Сгоню другую — другой билет... А в лето-то я их штук пять, сотельных-то, и залобую. Правильно я говорю? Хорошо... Теперь взять опять так: в деревне у меня родитель, древний старичок, и я его должен воспитывать. Так? Ему уж на девятый десяток перевавило... Вот я прибегу домой на пароходе и прямо старичку: на, тятенька, получай! Так? Старичку уважение... В деревне пять-то сотельных билетов богатство, не прожить...

Хорошо. Кажется, лежи бы ты на печи да ешь калачи, потому сплавщики мы из роду в род, родовичи. Живем справно, ничем не обижены от господа бога... Хорошо... Так получу я свои сотельные билеты, принесу их своему старичку, а старичок примет их и вместо благодарности каждый раз скажет: «Никита, землю помни... Деньги как скворцы: сегодня прилетели, покружились, а завтра улетели — только их и видел. Помни землю — вот тебе мой родительский наказ. Это от дедов всем нам хрестьянам заказано, а как нарушишь дедовщину — то тут тебе и погинуть». Вот как со мной старичок-то поговаривает, а у меня у самого внучата по лавкам бегают... Правильный это разговор, господа вы мои скубенты? Ведь я за один сотельный билет двоих таких работников, как сам, найму, а тут должен своими руками да за соху — деньги у старичка, а я в поле обихаживаю, потому в силе человек и должен все правильно. Главная причина: родительское благословение... У нас вся семья правильная, и нет этого заведения, чтобы против родителей.

В этих объяснениях было много понятного,

но все хорошее, весь смысл вычеркивался «родительским благословением». Этот крестьянский труд вершился по какой-то мертвой формуле, не освещаясь сознанием. Тот же сплавщик Никита не бросал землю и тяжелый крестьянский труд только из рабского повиновения родительской воле, — он являлся слепой силой, а не разумным тружеником. Чувствовалось вообще что-то темное и стихийное, в котором, как ребенок в пеленках, была завернута основная мысль нашего богатыря. Вся эта сцена происходила в начале семидесятых годов, когда еще не вошли в ежедневный обиход такие всеобъясняющие слова, как «власть земли»; представление о народе являлось слишком отвлеченным, неясным и расплывавшимся. Одним словом, нам пришлось долго биться с этим «сыном народа», пока уяснился истинный смысл его мирозерцания. Вместо того чтобы спать под его тулупами, мы проспорили за полночь, а утром продолжали тот же разговор. Нужно было видеть взаимную радость, когда начало устанавливаться взаимное понимание сторон. Около нас образовалась даже толпа слушате-

лей.

— Ты — барин, у тебя жалованье, — выкрикивал сплавщик, с азартом размахивая руками, а я хрестьянин, у меня земля. Меня родители землей благословили, тебя жалованьем...

— А которое лучше? — спрашивал кто-то в толпе.

— Земля лучше, потому она, первое, никуда не уйдет сама да и тебя не пустит, ежели ты правильный человек. А кто из хрестьян свернулся и пошел искать легкого житья, тот уж пропадет, как он ни вертись, как себя ни утешай: и сапоги со скрипом заведет, и гармонию, и по трактирам, одним словом, места человек не находит.

Общественное мнение публики третьего класса было на стороне сплавщика. Подогретый общим вниманием и сочувствием, старик разошелся окончательно. Оказалось, что родительское благословение, как алгебраическая формула, служило только выражением целого порядка мыслей, концентрировавшихся здесь, как в своего рода фокусе, и что здесь больше цельности, логических связей и жи-

ВЫХ ПОНЯТИЙ, ЧЕМ В ПЕСТРОМ РЕПЕРТУАРЕ НАШИХ ВЫЧИТАННЫХ ИЗ КНИЖЕК МЫСЛЕЙ.

**М**Ы были в восторге от нашего сплащика, хотя и понимали его только вполовину, настолько, насколько в его словах сказывалась органическая связь вот с этой серенькой природой, землей и могучей рекой. Получалось цельное впечатление, оставлявшее за собой в душе один из тех незримых следов, из каких складывается цельное и живое мирозерцание.

В числе публики, слушавшей наши разговоры, был один худенький старичок из «расейских», — это последнее сейчас было заметно по его шляпе-гречневику, белой холщовой рубашке с красными ластовицами и особенно по лаптям. Урал и Сибирь не знают лаптей, что объясняют богатством населения, а вернее объяснить недостатком липы. Этот старичок все время держался особняком и больше слушал. Только раз он изменил себе и вызвал сплащика Никиту на разговор.

— Уфимские будете? — спрашивал он сплащика, поглаживая свою бородку клинышком.

— Уфимские, значит, с Белой...

— Та-ак...

Худенький старичок как-то сразу оживился и ближе придвинулся к Никите. Его карие узенькие глаза усиленно заморгали, а гречневик съехал на затылок.

— А как у вас насчет земли?.. — почти шепотом спрашивал он, потирая заскорузлые руки с корявыми пальцами, походившими на сучья.

— Насчет земли? А сколько угодно... — хвастливо отвечал Никита, глядя на тщедушного старика сверху. — Своей не хватило — бери у башкир... Ренда у нас — двугривенный с десятины, это, значит, башкирам платим. Лесу неочерпаемое множество — тоже получай... А ты, дедушка, из расейских, видно, приходишься?

— Около того, милый человек... Тамбовской губернии мы пишемся.

— Куды же ты бежишь с нами на пароходе?..

— А так, по своему делу...

— В Сибирь?.. Может, к сродственникам каким?.. Со всех сторон гонят туда народ.

— Это ты насчет ресторанов? Нет, Пока господь миловал: никого у нас в роду не случилось, чтобы в рестораны... проносит господь-батюшка... Нет, не случилось.

— Что же, дедушка, все под богом ходим: от тюрьмы да от сумы не отказывайся... Уж это кому какие счастья.

— Нет, господь миловал, а я по своему делу...

Тамбовский мужик оказался ходоком, одним из тех безвестных пионеров, которые в начале семидесятых годов «обыскивали» Сибирь, прокладывая широкий путь последующему переселенческому движению. Богатырь Никита обрадовался своему брату-мужику, чтобы поговорить и с ним на свои излюбленные темы о земле, о крестьянской работе, о всех распорядках и свычаях далекой крепостной Расеи. Но старичок, по-видимому, уклонился от настоящего душевного разговора и только как-то весь ежился.

— Вот вы все расейские такие: точно вас ушибло, — шутил над ним Никита. — От тесноты это у вас...

— Есть тесноты — это точно... — бормотал

старичок, передвигая свой гречневик с одного уха на другое. — Господские мы были, так как тесноте не быть... обыкновенно... За баринном жили, неколи было расширяться-то.

— Так ты насчет земли хочешь промыслить? — допрашивал Никита. — Правильно...

— Так, по своему делу, — уклончиво бормотал ходок, точно стыдился, что слишком уж разболтался перед чужим человеком.

Лично меня этот тамбовский старик заинтересовал своей особенной мужицкой выдержкой. Вглядываясь в него, каждый чувствовал присутствие чего-то особенного, что он нес с собой так бережно, как святыню. Эти расейские лапти, домашнего холста белая рубаха и гречневик прикрывали именно то, чего недоставало выростковым сапогам, ситцевой рубахе и бараньим шубам нашего сплавщика Никиты. Ходок не стыдился своей мужицкой бедноты и не щеголял ею, а к тутому богатству Никиты относился совершенно равнодушно. Замечательно было то, что, когда этот тщедушный старичок подходил к нам, богатырь Никита как будто заминался в своих речах. Простая публика третьего класса то-

же поглядывала на него, точно ожидая какого-то мудреного слова, но старичок упорно молчал и только угнетенно вздыхал.

— Правильно я говорю, дедушка, по-нашему, по-христианскому? — не один раз спрашивал Никита, видимо встревоженный молчаливым присутствием ходока.

— Известно, правильно, — равнодушно соглашался дедушка и опять улыбался. — Все правильно, милый человек... как следует...

Между этими мужиками народилась и выростала какая-то невидимая рознь, которая чувствовалась, а не поддавалась словесному определению... Получалось что-то неладное, скрытое и недосказанное; что заметно раздражало Никиту. Кажется, чем мог помешать ему безобидный тамбовский мужичонка, а между тем Никиту так и корбило, когда тот улыбался в свою бородку клинышком.

В Пьяном Бору, где высаживались пассажиры, ехавшие на Уфу, мы распростились с нашим сплавщиком. Он взвалил на свои могучие плечи два громадных мешка, захватил шубы и превратился в целую копну.

— Ну, не поминайте лихом, господа вы

мои скубенты, — прощался он, выставляя голову из своих шуб. — Может, что и лишнее сказал, так не обессудьте на нашей простоте...

Пароход причалил к маленькой пристани. Публика столпилась у правого борта, а в том числе и тамбовский ходок. Когда пароход остановился и публика хлынула к сходням, сплавщик Никита протянул руку ходоку и проговорил:

— Ну, дедушка, счастливой дороги...

— Спасибо, милый человек.

Никита постоял, потрянул своими мешками и шубами и проговорила

— А ведь я правильно говорил... а?.. Насчет крестьянства то есть.

— Правильно-то правильно, да только оно тово... — замялся старичок и неожиданно прибавил: — Глупый ты человек, Никита, хоша ты и в сапогах и три шубы у тебя...

Произошла немая сцена. Сплавщик заметно смутился, а мы положительно были обижены за него.

— Пустой человек, и больше ничего, — задумчиво повторил старик, не обращаясь, собственно, ни к кому. — И правильные слова го-

ворил все время, а все-таки пустой...

— Да почему пустой? — приставал к нему кто-то из студентов, — Это не доказательство: пустой, пустой... Про всякого так можно сказать.

— А как, по-вашему, хорошо это правильные-то слова зря разговаривать? — заговорил ходок уже с азартом. — У меня вот за пазухой, может, тыщи рублей, так я и пойду на пароходе показывать их всякому: на, мол, смотри, сколько у меня денег... Деньги-то останутся деньгами, а меня каждый дураком назовет. Так и у сплавщика: как бы настоящий человек он был, так не стал бы зря правильные слова свои болтать... Тоже слово-то к месту говорится.

Помню, какое оглушающее впечатление эти простые слова произвели на всех окружающих, а наш сплавщик вдруг сделался точно меньше. Теперь вся публика была уже на стороне тамбовского лапотника, — это была простая, серая публика, не привыкшая к праздной болтовне. Здесь еще жила вера в слово, в живое и могучее слово, которое нельзя бросать на ветер, потому что оно кровно срос-

лось со своим внутренним содержанием. Сколько раз впоследствии мне приходилось вспоминать эту сцену: так много у нас на Руси говорится хороших и правильных слов совершенно праздно и не к месту...

1899